

И.С. Шкловский

## «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ. КОСМОГОНИЧЕСКАЯ ПОЭМА»

Не приходится доказывать ту простую истину, что каждая область науки имеет своих специфических психов. Возьмём, к примеру, математику. Для этой древнейшей из наук характерным типом сумасшедших были и остаются так называемые «ферматисты». Эти несчастные всю жизнь маниакально пытаются доказать знаменитую теорему Ферма. Простота формулировки («...не существует таких трёх целых положительных чисел  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , чтобы выполнялось равенство  $x^n + y^n = z^n$ , если  $n > 2$ ») толкает на безуспешные попытки доказательства этой теоремы даже лиц с более чем скромной математической подготовкой. Решение проблемы до сих пор не найдено [Найдено в 1995 году Эндрю Уайлсом. — *E.G.A.*], и вообще похоже, что, утверждая в краткой записи на полях Диофантовой «Арифметики», что он эту теорему доказал, великий французский математик ошибся.

Мне рассказывали прелестную историю о том, как учёный секретарь Математического института им. Стеклова, проводя свой отпуск в маленьком молдавском городке, в местной районной газетке (использованной им как кулёк при покупке на базаре вишен) случайно прочёл, что какой-то тамошний школьный учитель доказал Великую теорему Ферма. И тут учёному секретарю пришла в голову блестящая идея. Он вырезал заметку и по приезду в Москву положил её под стекло своего письменного стола в служебном кабинете. Следует сказать, что приходящие в институт со своими гениальными идеями психи попадают прежде всего к учёному секретарю. Теперь представьте, что приходит очередной «ферматист» и излагает свой часто довольно хитроумный и не просто «ловящийся» бред. Учёный секретарь молча его выслушивает и указывает на лежащую под стеклом газетную вырезку. И таково уж магическое воздействие печатного слова на советского человека: по крайней мере 80 процентов недостаточно устойчивых психов понуро уходили восвояси — очень жаль, но с доказательством великой теоремы они малость опоздали! Перед нами редкий по эффективности пример рационализации производства, в данном случае — делопроизводства, так как настырные психи обычно втягивают учёных секретарей в изнуряющую переписку с разными партийными и советскими инстанциями.

В моей астрономической науке дела с психами обстоят не так «одномерно», как в математике, где, как я слышал, чуть ли не  $\frac{3}{4}$  их сочинений приходится на доказательство Великой теоремы Ферма. Характер психизысканий в астрономии — весьма чувствительная функция моды и поветрия в реальной науке о небе. Не могу себе простить, что лет 30 назад я не завёл специальную папку под названием «Нам пишут». Боже мой, чего только они не писали! Помню, например, как меня, так же как и всех московских астрономов, одолевал один особо одержимый псих, который изобрёл уникальную оптическую систему под названием «телескоп-микроскоп» («посмотришь с одного конца — телескоп, с другого — микроскоп»). Дело тянулось несколько лет, и чем оно кончилось, я просто не помню. Запуск первого советского искусственного спутника Земли и последовавшие после этого бурные события подействовали на них примерно так же, как валерьянка на кошек. В конце концов, ведь и Циолковский тоже был гениальным психом-самоучкой и вполне годился в магистры этого удивительного ордена. Атаки на мою персону стали особенно ожесточёнными после запущенной по моему предложению искусственной кометы — облака паров натрия, выпущенного с борта спутника. Опыт действительно производил впечатление,

особенно когда такая комета образовывалась в верхних слоях атмосферы, Хорошо помню, например, отклик на этот эксперимент одного психа-баптиста, содержащий такие удивившие меня строчки: «Куды пускаете ракету! Забыли церкву и собор!». А когда в 1962 году вышла моя книга «Вселенная, Жизнь, Разум», для меня настали совсем тяжёлые времена.

Но из всех моих контактов с одержимыми, пожалуй, наиболее сильное впечатление на меня произвела эпопея Шварцмана. История эта началась в 1950 году. Это было примечательное время. Незадолго до этого, в 1948-м, прогремела пресловутая сессия ВАСХНИЛ, когда фанатичный и одновременно примитивно хитрый агроном Лысенко с полного одобрения Сталина разгромил и на долгие годы превратил в пустыню биологическую науку. «Почин» Лысенко вызвал аналогичные «движения» и в других науках. Благо и там «лысенковцев» было более чем достаточно. Это тогда Бошняк «доказывал», что микробы возникают из каких-то кристаллов, а старая большевичка Лепешинская проповедовала содовые ванны как панацею от всех болезней и несла ещё какой-то бред. В химии банда Шахпаронов и К° громила «буржуазную» теорию резонанса и одного из её создателей Полинга, уже потом ставшего выдающимся борцом за дело мира. Мракобесы на физическом факультете МГУ заставили отречься лучшего из профессоров этого факультета Хайкина от основ механики, изложенных в его известном учебнике. Объявили было квантовую механику и теорию относительности буржуазными диверсиями и хотели на этой основе устроить шашки по образцу сессии ВАСХНИЛ, но их одёрнули «сверху»: понимали всё-таки, что без настоящей физики нельзя обеспечить боеготовность страны. Так что здесь в отличие от биологии обошлось без крови.

Моровое поветрие не могло не коснуться астрономии, где оно приняло своеобразные, к счастью, тоже бескровные, формы. Наиболее ярким выражением лысенковщины в астрономии была космогоническая теория Шмидта. Я, конечно, далёк от того, чтобы ставить в один ряд разносторонне талантливый и глубоко порядочный Отто Юльевич Шмидт и Лысенко. Но объективности ради следует сказать, что пропаганда, вернее, *навязывание* гипотезы Шмидта о происхождении Солнечной системы (весьма спорной, а в своей разумной части — неоригинальной) велась вполне лысенковскими методами, причём началась она ещё до «исторической» сессии ВАСХНИЛ. Так что Отто Юльевич в этом смысле «пионер».

В те далёкие времена организовывались космогонические конференции и совещания вполне в духе лысенковских «сабантуев». Приклеивали ярлыки (например, «хойлисты» — полный астрономический аналог вейсманистов-морганистов), научные проблемы решались голосованием после предварительного совещания на партгруппе — одним словом, всё было «как у людей». С «трудами» этих конференций было бы полезно ознакомить нашу астрономическую молодёжь. Всё-таки мы далеко ушли от этих для меня незабываемых времен.

Вполне понятно, что описанные выше бурные события в астрономии немедленно нашли своё отражение и в «деятельности» психов. Нас, астрономов, стали засыпать бесчисленными совершенно бредовыми космогоническими гипотезами. Впрочем, не будем так суровы к бедным маньякам: ведь если на профессиональном уровне господствовали тогда вполне психопатологические идеи и методы пробивания этих, с позволения сказать, «теорий», то что же

оставалось делать «настоящим», так сказать, «освобождённым» психам? Именно в это время с чудовищной энергией нас, астрономов, стал атаковать некий Шварцман. Его плодовитость была угрожающая. В нашем центральном органе — «Астрономическом журнале» — труды Шварцмана занимали заметную часть редакционного портфеля. Как и положено, бессменный секретарь редакции милейшая Анна Моисеевна давала всю эту «шварцманиану» на рецензии разным московским астрономам и перебрала почти всех. Коллеги отделивались, как обычно, краткими, поверхностными, сугубо отрицательными отзывами. До поры до времени чаша сия меня миновала. Но пришёл и мой час: мне были вручены пять довольно толстых, написанных от руки тетрадок — сочинения Д. Шварцмана. Я как раз собирался на очередной летний сезон в любимый Симеиз. Нужно было ликвидировать кучу московских дел, и, право же, мне было не до изучения лепета какого-то безумца. Буквально за день до отъезда я вспомнил о злополучных тетрадках. Превозмогая отвращение и досаду, вечером стал просматривать эту пакость. Я решил Шварцмана забодать сразу же неоднократно испытанным приёмом: не читая текста, проверить размерности многочисленных, с виду довольно сложных, «трёхэтажных» формул. Способ этот верный: отсутствие логики в мышлении неизбежно должно приводить к нарушениям размерности; например, в левой части уравнения будут килограммы, а в правой — какая-нибудь бессмысленная комбинация из сантиметров, граммов и секунд. Этим методом я хорошо владею — однажды на потеху большой аудитории «прищучил» самого академика Фесенкова. Велико же было моё изумление, когда размерности даже самых сложных формул у Шварцмана оказались правильные! Больше я ничего сделать не смог — был в полном цейтноте. На следующий день, буквально накануне отъезда, я забежал в родной ГАИШ и по своему невезению напоролся на Анну Моисеевну. К счастью, рядом оказался мой старый коллега по аспирантуре Серёжка Полосков, которого я, тонко сыграв на его всем известной любви к гонорарам («Бери Шварцмана и проси за каждую статью отдельно, ведь статьи, сам понимаешь, близнецы»), быстро уговорил отрецензировать злосчастные опусы. Убегая из ГАИШа, я оглянулся и увидел издали Серёжку и Анну Моисеевну, которые, оживленно жестикулируя, явно торговались. «Бедный Шварцман», — мелькнуло у меня в голове, но я тут же забыл об этом, так же как и о другой московской мути, от которой убегал к тёплому морю.

Когда глубокой осенью я вернулся, Сергей Матвеевич Полосков сообщил мне, что он лихо «сделал» бедного Шварцмана. И тут же поведал совершенно поразившую меня новость. Получив очередную порцию отрицательных рецензий, Шварцман отколол номер: он заперся в своей комнате, где жил один, и оставил своим соседям записку. Текст записки буквально такой: «Обскуранты от науки отвергли мою теорию. В знак протеста и во имя науки я объявляю голодовку и прекращаю приём пищи». Через неделю обеспокоенные соседи взломали дверь, и бедный автор космогонических гипотез в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. Рассказывая это, крупный, переполненный здоровьем Сергей Матвеевич весело смеялся. А мне стало как-то не по себе.

Хорошо помню случившуюся через несколько месяцев после описанных событий очередную «космогонку» (так на нашем сленге назывались навязшие в зубах словопрения по т.н. «космогонической проблеме»). Совершенно не помню ни предмета словоизлияний, ни даже места, где это действие происходило. Однако до мельчайших подробностей мне врезалось в память появление, вернее, явление Шварцмана астрономическому народу. Во время перерыва между докладами появился и стал нарастать панический слух: «Идёт Шварцман!». И все

(я не преувеличиваю!) бросились врассыпную — ибо почти каждый был замешан в рецензировании его муторных трудов. На что Алла Генриховна Масевич — «первая леди космогонок» — дама выдержанная, и та куда-то сбежала. Я же, по причине сильной близорукости, как-то замешкался, а когда опомнился, было поздно: навстречу мне по длинному коридору шла маленькая щуплая фигурка. Это и был ставший уже легендарным Шварцман. Я, словно загипнотизированный, неподвижно стоял, глупо уставившись на маленького человечка. Помню его совершенно белое молодое лицо и огромные горящие глаза.

— Вы отвергли мою теорию! — решительно сказал он.

Я стал что-то бляеть, мол, это не я, это Серёжка и пр.

— Вы отвергли мою теорию. Я вам докажу! — и с этими словами он, преисполненный достоинства, пошёл обратно.

И опять коридор наполнился «легальными» космогонистами. На душе у меня было пакостно — никак не мог забыть его глаза.

Потом я опять уехал на лето в Симеиз, а когда в конце сентября 1951 года вернулся в Москву и в первый же день пошёл в ГАИШ, то встретил там уже поджидавшего меня Шварцмана. Физиономия у меня, естественно, вытянулась. Без всяких предисловий он сказал: «Я принёс!» — и протянул мне завёрнутый в бумагу переплетённый фолиант, по весу соизмеримый с довольно пухлой докторской диссертацией.

«Пожалуй, страниц на 300 потянет», — уныло подумал я и машинально попросил автора заглянуть через недельку.

Не говоря ни слова, Шварцман ушёл.

Незаметно пролетел остаток рабочего дня, наполненный обменом новостями с друзьями и сотрудниками. Уходя из института, я заметил на моем столе свёрток и, морщась как от зубной боли, вспомнил Шварцмана. Машинально я развернул свёрток и обмер. На титульном листе огромной машинописной рукописи было выведено: «*Космогоническая поэма*». Мне стало совсем нехорошо, когда я принялся читать это уникальное произведение. Все 263 страницы были заполнены... чеканным «онегинским» ямбом! Довольно часто на страницах этого чудовищного труда попадались формулы (я их живо вспомнил...), которые зарифмовать всё же не удалось. Чтобы читатель мог составить хоть какое-то представление об этом произведении, приведу начало вступления к «Космогонической поэме»:

Боюсь, что странный выбор темы

Тебя, читатель мой, смутит.

В наш век не принято поэмы

Писать научные. Претит

Мужам науки музы лепет,

Кудрявый слог и рифмы эвон,

Но что поделать, если трепет,

Когда в расчёты погружён

Напополам с мечтой летучей...

Вот так-то! В поэме довольно много примечаний, и все они зарифмованы. Шварцман непрерывно ведёт полемику с пулковским астрономом, позже директором этой обсерватории и членом-корреспондентом Академии наук, большим путаником В. А. Кратом. Сколько язвительности, даже тонкой иронии: «что тренье есть работы трата? слова доподлинные Крата», и вместе с тем — полная корректность и благожелательность к оппоненту! А ведь сколько кровушки выпили у него коллеги Крата! Тут любой бы ожесточился, но не таков Шварцман. Вместе с тем он, дитя своего схоластического времени, даёт совет по части аргументации: «...Раскройте Энгельса, дружок!..» Потрясённый «Космогонической поэмой», я просто не знал, что мне делать.

Ровно через неделю передо мной сидел сам автор. Я спросил, писал ли он когда-либо стихи. Нет, никогда не писал. Понятно, конечно, почему он выбрал ямб — другого размера он просто не знал! Бедняга со школьных лет помнил только «...мой дядя самых честных правил...». Когда он наглотался отрицательных рецензий на свои труды, рассматриваемые им как дело жизни, в его большое сознание въелась идея, что эти труды не понимают потому, что они написаны... прозой! И, одержимый своей догадкой, человек буквально за 2–3 месяца совершил настоящий подвиг.

Годы, протекавшие после окончания средней школы, он работал слесарем, всегда в ночной смене, днём же сидел по 10 часов в библиотеке Ленина. Практически не спал, питался... бог знает, где и чем он питался. Это был подлинный аскет. Что же мне с ним делать? И тут мелькнула неожиданная мысль, Я был тогда учёным секретарем комиссии по исследованию Солнца и располагал чистыми бланками. Я сказал сидевшему напротив меня Шварцману:

— Я напишу вам, и притом на официальном бланке, существенно положительную рецензию. Учтите, что власти у меня нет. Но с этой рецензией вы, может быть, добьётесь публикации ваших трудов. Может быть, хотя это и маловероятно.

Шварцман прослезился — он явно не ожидал такого оборота. Я тут же написал ему рецензию, а знакомая машинистка напечатала её на казенном бланке. Вот текст этой рецензии:

«Рецензируемая работа Д. Шварцмана «Космогоническая поэма» посвящена одной из актуальнейших проблем современной астрофизики. Оригинальная форма, которую автор придал своему произведению (стихи), несомненно, привлечёт к нему внимание самых широких слоёв нашей общественности. Работа Д. Шварцмана вполне может быть опубликована в «Вопросах космогонии» в порядке дискуссии.

Секретарь комиссии по исследованию Солнца д.ф.-м.н. И. Шкловский».

Шварцман был потрясён — ещё бы: первая положительная рецензия в его короткой, но многострадальной жизни. Когда он уходил, я ему сказал:

— У вас, наверное, есть ещё экземпляры «Космогонической поэмы». Оставьте мне, пожалуйста, на память этот экземпляр.

Он с радостью выполнил мою просьбу, и вот я уже 30 лет — счастливый обладатель этого, по-видимому, уникального сокровища.

Получив положительную рецензию, Шварцман стал безуспешно обивать пороги астрономических редакций и учреждений, доставляя немало хлопот моим чиновным коллегам. Я нарушил правила обращения с психами, чем, в частности, вызвал нарекания Аллы Генриховны:

— Этот Шкловский — совершенно несерьёзный человек, прямо-таки озорник!

Нигде, конечно, «шварцманиану» не напечатали. А жаль! Ведь столько всякой ерунды публикуют, которую даже никто не читает! Скажу больше: я до сих пор так и не вник в научное содержание «Космогонической поэмы». Всё как-то некогда. Странно всё-таки, что там формулы имеют правильные размерности. А вдруг...